

Коган Наум Львович

В глухом местечке

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Н34

Н34 **Наум Львович К.**
В глухом местечке / Коган Наум Львович – М.: Книга по Требованию, 2026. –
97 с.

ISBN 978-5-519-89592-7

ISBN 978-5-519-89592-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

I.

— Такъ-то, братецъ, вы еще жалуетесь, а посмотрите на меня, какъ я живу! Каждый день—одно и то же. Вотъ мы не видались нѣсколько лѣтъ: вы, конечно, перемѣнились, вы этакъ, знаете, жили, общество всякое, взгляды тамъ разные, новости, — а я все тутъ! И наизусть знаю, какъ для меня пройдетъ день: сейчасъ придуть мнѣ докладывать, я буду подписывать, потомъ кричать, потомъ поѣду по дѣламъ, а дѣла-то мои... эхъ!

Лаврентій Ардаліоновичъ отодвинулъ ногою стоявшій около него стулъ и, засучивъ рукава своего халата, началъ бриться. Было около девяти часовъ утра.

Лаврентій Ардаліоновичъ Алексѣевъ былъ полицейскимъ надзирателемъ мѣстечка Николаевки, въ которомъ еврейское населеніе преобладало надъ другими національностями, — и находился въ этой должности около тридцати лѣтъ. Высокаго роста, съ сѣдыми усами, стройный, онъ производилъ впечатлѣніе еще бодраго служаки, несмотря на свои 65 лѣтъ. Говорилъ онъ басомъ, держался съ особеннымъ достоинствомъ и былъ грозою для всѣхъ обывателей мѣстечка. Но служба его не удовлетворяла и дѣлала его не въ мѣру раздражительнымъ. То придирки исправника, то непріятныя порученія, наконецъ долгое пребываніе въ гниломъ захолустьѣ и полное одиночество, — все это превратило его, дворянина Алексѣева, въ „угрюмое старое чудовище“. Что касается исправника, то тотъ былъ „вполнѣ бюрократъ“, „человѣкъ, нисколько не уважающій лю-

дей низшей полицейской іерархіи“, „анахронизмъ въ нынѣшнемъ столѣтіи“,—говаривалъ Алексѣевъ. А развѣ можно при такихъ условіяхъ чувствовать себя хорошо человѣку чуткому, у котораго есть еще душа и нервы? Мудрено ли, что все ему надоѣло, начиная со службы со всѣми сослуживцами и подчиненными?— „Бррр!“ воскликнулъ Лаврентій Ардаліоновичъ, рассказывая мнѣ о нихъ. Да, Лаврентій Ардаліоновичъ не безъ основанія былъ особенно дурно настроенъ въ это утро, жалуясь на свою судьбу. Его радостное лицо при видѣ меня (я пріѣхалъ въ Николаевку послѣ двѣнадцатилѣтняго отсутствія) смѣнилось въ конецъ мрачнымъ и недовольнымъ, когда онъ сталъ говорить о себѣ...

Алексѣевъ продолжалъ бриться, а я принялся разсматривать его комнату, въ которой не нашелъ почти перемѣнъ. Тѣ же столы, стулья, кровать, только надъ письменнымъ столомъ висѣла новая картина, изображающая пріемную князя по „Губернскимъ Очеркамъ“ Н. Щедрина. Лаврентій Ардаліоновичъ очень любилъ сочиненія Щедрина, изъ которыхъ онъ приводилъ часто цитаты, какъ бы въ доказательство того, что онъ выше своей среды и знаетъ ей настоящую цѣну.

— Въ мѣстечкѣ Мыколаевки... — началъ было докладывать нараспѣвъ появившійся вдругъ урядникъ; но Лаврентій Ардаліоновичъ не далъ ему докончить и, указывая на него бритвой, произнесъ, обращаясь ко мнѣ:

— Вотъ не угодно ли!.. Курица подохла, что ли, или жиды накуралесили?—спросилъ онъ урядника.—Убрать!— приказалъ онъ, подавая ему бритву, щеточку и мыло.

Урядникъ вышелъ съ принадлежностями бритья, а Лаврентій Ардаліоновичъ сталъ облачаться въ свою форменную одежду. Ему прислуживалъ вызванный имъ по звонку десятскій, который за неудачно поданный сапогъ или рукавъ мундира удостоивался званія то осла, то болвана. Окончивъ свой туалетъ, надзиратель пріѣхалъ къ столу, недалеко отъ меня.

— Ну, рассказывайте, Яковъ Григорьевичъ, что вы подѣлывали, гдѣ бывали. Мы столько лѣтъ не видались, что

я, право, отъ души радъ вашему прїѣзду. Что васъ привлекло къ намъ?

— Поселиться здѣсь думаю, Лаврентій Ардаліоновичъ...

— Здѣсь?!.. Ну, ужъ это что-то такое, чего я не пойму! Извините меня: что вамъ здѣсь интересно? Какая здѣсь пища уму, да еще молодому? Да я бы, будь моя воля, пѣшкомъ бы удралъ отсюда, право...

— Школу хочу здѣсь открыть, да и къ своимъ присмотрѣться... все-таки жизнь вѣдь и это...

— Жизнь-то жизнь... впрочемъ, я тутъ ничего не разберу, это не по моей части. Ну, когда-нибудь еще поговоримъ, а теперъ я займусь немного. Кагайловъ!

Вошелъ урядникъ.

— Почту!— приказалъ надзиратель.

Кагайловъ положилъ на столъ нѣсколько запечатанныхъ пакетовъ. Лаврентій Ардаліоновичъ принялся вскрывать ихъ, но при этомъ не могъ отказать себѣ въ удовольствіи потѣшиться надъ вытянувшимся передъ нимъ урядникомъ.

— Вотъ онъ и настоящій жидоморъ! Вы у него спросите, какова здѣсь жизнь; знатокъ — я вамъ скажу—онъ мѣстныхъ типовъ...

Лицо Кагайлова было неподвижно, точно не о немъ шла рѣчь: его больше всего, повидимому, интересовала почта.

— „Объявить“!— читалъ Лаврентій Ардаліоновичъ:—ну, объявить... это неважно. „Минскому мѣщанину Хацкелю Лейбову Ициксону“... Ага, пошелъ уже... начинаются прелести... „По обвиненію въ проживательствѣ по чужому паспорту“... Кагайловъ, слышите?

Кагайловъ издалъ какой-то неопредѣленный звукъ.

— „Имѣю честь“... гмъ, а я—удовольствіе и очень пріятное.—Остальное онъ дочиталъ про себя. — „Предлагаю вашему благородію немедленно“...

Лаврентій Ардаліоновичъ, прочитавши и эту бумагу про себя, скомкалъ и бросилъ ее на другой конецъ стола.

— Кагайловъ, сколько здѣсь жидовскихъ хедеровъ?—спросилъ онъ урядника.

— Четыре.

— Безъ разрѣшенія?

— Такъ точно!

— Извольте-ка радоваться! — разсвирѣпѣль Лаврентій Ардаліоновичъ:—да еще и за нихъ отвѣчай! А я и забылъ объ ихъ существованіи, чортъ бы ихъ побралъ! Составить протоколы!

— Всѣмъ?

— Всѣмъ??—передразнилъ онъ урядника.—Всѣмъ вѣдь тоже нельзя,—бормоталъ онъ въ раздумѣ:—поднимутъ гевальтъ... А никому не составитъ послѣ этого (онъ указалъ на скомканную имъ бумагу)—невозможно...

— Кому прикажете?

— Себѣ!—вдругъ закричалъ Лаврентій Ардаліоновичъ:—себѣ, за отсутствіе всякой сообразительности. Ну, хоть бы капля соображенія: стоитъ вотъ, хлопаетъ глазами! Извольте уходить по дѣламъ!

Онъ махнулъ рукою вслѣдъ уходившему уряднику и обрѣлся ко мнѣ:

— Не угодно ли: „немедленно“! Легко написать! А по-ди-ка исполни! Зайдешь—обступятъ тебя жиденята, иной затрясется какъ въ лихорадкѣ; Ривка его начнетъ выть, да еще, на бѣду, беременная... Каменный я, что ли? А въ чемъ дѣло, я васъ спрашиваю? Учить вѣдь жидъ тамъ по-своему, аферы здѣсь никакой, хлѣба хочеть... Андрей!

Десятскій прибѣжалъ и выстроился.

— Дуракъ!

— Прикажете заложить?

— Да-съ, прикажу... пошелъ вонъ!.. Того и гляди, еще паспорта, какъ водится, не окажется,—вотъ тебѣ и „сугубое“. Да-съ, душу возвышающее занятіе, и я вамъ доложу, эта возня съ жидовскими увертками... А тутъ еще люди нарочно пріѣзжаютъ изъ культурныхъ центровъ. Что жъ, полюбуйте на насъ... Да, вотъ кстати!—крикнулъ Лаврентій Ардаліоновичъ, очутившись раньше меня на улидѣ.—Какъ тебя тамъ, эй, Шлѣмка, чортъ бы тебя побралъ, пошелъ сюда! Полюбуйте, —сказалъ онъ мнѣ,—хоть этимъ экземпляромъ, изучайте! а у меня онъ сидитъ уже вотъ гдѣ!

И онъ указалъ рукою на свой затылокъ.

Изъ-за угла улицы показалась фигура еврея, лѣтъ 45—50, въ черномъ длинномъ сертукѣ, съ черными маленькими пейсами, съ очками на носу, съ тонкими ногами, обутыми въ сапоги съ рыжими голенищами, въ которыхъ были засунуты панталоны. Услыхавъ начальственный окрикъ, онъ ускорилъ свою походку и, дѣлая маленькіе шаги, замахалъ толстою палкою съ загнутымъ верхнимъ концомъ; еще на довольно значительномъ разстояніи отъ надзирателя Шлёмка снялъ съ головы свой картузъ и очутился въ засаленной ермолкѣ. Одна нога его была короче другой, на лѣвомъ глазу—бѣльмо. Черная, длинная, клинообразная борода рѣзко оттѣняла блѣдное лицо; очевидно, страдая одышкой, еврей пыхтѣлъ и, приблизившись къ намъ, постарался изобразить любезную улыбку, которая не вязалась съ его запуганнымъ и непривлекательнымъ видомъ.

— Чучело!—привѣтствовалъ его Лаврентій Ардаліоновичъ.—Ишь ты, джентльменъ! Фу, ты, Боже мой!

Надзиратель не зналъ, какъ сильнѣе выразить свое отвращеніе къ Шлёмкѣ, а Шлёмка смотрѣлъ вопросительно то на него, то на меня. Въ его глазахъ выражалось желаніе не разсердить какъ-нибудь начальства и поскорѣе убраться. По всему было видно, что они съ надзирателемъ старые знакомые, что Шлёмкѣ не въпервой выслушивать подобныя клички; напротивъ, ему было бы, пожалуй, странно, если бы надзиратель обошелся съ нимъ какъ съ человѣкомъ, какъ съ „ребѣ Шлойме“, напримѣръ, а не со Шлёмкой.

Лицо Шлѣмы было очень типичное; это было лицо талмудиста-философа, черпающаго свои воззрѣнія и всю мудрость изъ тулмуда, агадъ*) и поученій. Его маленькіе глазки были задумчивы; онъ слегка морщилъ лобъ, какъ бы уносясь мысленно въ область преданій и поученій, которыя онъ призываетъ на помощь въ трудныя минуты, чтобы не потеряться въ лабиринтъ житейскихъ мелочей.

— Ишь, чучело чортово! Да и плутовать, я вамъ скажу,—посмотрите только на рожу...

*) Преданіе.

Я посмотрѣлъ на эту „рожу“, но увидѣлъ въ ней вовсе не плутоватость. Шлѣмка улыбался слабой, снисходительной улыбкой. Лаврентій Ардаліоновичъ, конечно, не могъ допустить и мысли, что передъ нимъ—глубокій философъ, относящій и его, надзирателя, и свою съ нимъ встрѣчу, и всѣ его насмѣшки, какъ частности, къ нѣкоторой общей философской схемѣ. Но это было именно такъ. Въ улыбкѣ Шлемки, въ легкихъ морщинахъ, мгновенно собравшихся на лбу, я прочиталъ сожалѣніе философа къ бѣдному человѣку, который грѣшитъ по глупости. Такъ, вѣроятно, улыбался знаменитый раввинъ ребе Гилель, когда его оскорбляли. Ребе Гилель, одинъ изъ творцовъ талмуда, славился тѣмъ, что никто не могъ его разсердить; онъ всегда съ грустью отвѣчалъ оскорблявшему его: „Что тебѣ угодно, сынъ мой? Не сердись, прошу!“ Чудовищнымъ показалось бы Лаврентію Ардаліоновичу самая мысль о томъ, что Шлѣмка снисходитъ къ нему, Шлѣмка съ пейсами и, можетъ стать, безъ паспорта! И однако оно было именно такъ.

— У тебя есть еще хедерь?

Шлемка какъ бы очнулся: передъ нимъ была дѣйствительность; онъ поблѣднѣлъ, но ничего не отвѣтилъ.

— Рожа, вѣдь тебя спрашиваютъ!

Шлѣмка смотрѣлъ умоляюще. Я зналъ, что мое вмѣшательство въ подобныя минуты, когда Лаврентій Ардаліоновичъ былъ золъ, ни къ чему не поведетъ, и въ свою очередь молчалъ.

— Ну, не смѣшно ли? и онъ хитритъ! Ахъ ты, чучело гороховое! Ты у меня безъ штукъ. Слышишь ли, что говорятъ тебѣ? Мнѣ не до шутокъ со всякимъ уродомъ. Разгони жиденятъ своихъ, а то я велю составить протоколъ и передать его судебному слѣдователю. Ступай, ступай... нечего... пошелъ!

Шлѣмка пробормоталъ что-то неслышно и поплелся, оглядываясь назадъ и не рѣшаясь надѣть свой картузъ: послѣднее онъ себѣ позволилъ, когда уже былъ довольно далеко отъ насъ.

— Ну, что, вѣдь прелесть?—спросилъ меня Лаврентій Ардаліоновичъ.—Вы довольны субъектомъ?

— Очень доволенъ!—отвѣтилъ я улыбаясь.

— Вы это серьезно? Ну, помогай вамъ Богъ, а я не доросъ до пониманія прелестей этого типа... Что дѣлать? Однако у меня дѣла, и болтать не приходится...До свиданья...

II.

Я долго бродилъ по улицамъ Николаевки, гдѣ каждый уголокъ былъ мнѣ знакомъ по старымъ воспоминаніямъ, всматривался въ лица обывателей, съ которыми въ недалекомъ будущемъ предстояло мнѣ сблизиться, знакомился кое съ кѣмъ и усталый возвратился къ себѣ. И все время образъ Шлѣмы не давалъ мнѣ покоя. „Что это за человѣкъ? — думалъ я. — Чѣмъ онъ живетъ, кому улыбается естественно открытой улыбкой, и почему мнѣ кажется, что я, какъ будто, встрѣчалъ его раньше?“

Понемногу мои воспоминанія прояснились: да, я дѣйствительно зналъ Шлѣму. Это было еще въ дни моего дѣтства...

Какъ-то разъ въ субботу, послѣ обѣда, когда старшіе, по обычаю, пошли отдыхать, я забрался на дворъ синагоги. Обойдя ее, я замѣтилъ у задней стѣны отворенную дверь отдѣленія для женщинъ и, остановившись, услышалъ тихое жужжаніе слабаго женскаго голоса. Я взобрался на ступеньки, сталъ у порога и разглядѣлъ между скамейками сгорбленную спину старухи, читавшей что-то стоя. Когда я подошелъ ближе, старуха повернула ко мнѣ доброе старческое лицо.

— Иди сюда, сынокъ, иди ко мнѣ!—ласково позвала она.

Я повиновался.

— Чей ты?—спросила она, погладивъ меня по щекѣ.

Я назвалъ имя моего отца.

— Вотъ какъ! Куда же ты, котикъ, идешь?

— Гуляю, бабушка. А ты что дѣлаешь?

— Молюсь, сынокъ, молюсь: сегодня суббота, и я читаю псалмы.

— Развѣ женщинамъ это нужно?

— Отчего же нѣтъ? Богъ всѣхъ услышитъ. Всевышній да спасетъ тебя: ты умный мальчикъ.

— Бабушка, а отчего ты не дома?

— Нѣтъ, сынокъ, я дома.

— Гдѣ же ты живешь?

— А вотъ за этой дверью я всегда сплю и ѣмъ, а здѣсь молюсь и учу дѣвочекъ. Славныя дѣвочки, сынокъ; спасибо старостѣ синагоги: онъ позволилъ мнѣ жить здѣсь.

— А у тебя есть дѣти?

— Есть сынъ и внуки, дай Богъ имъ здоровья. Сынъ мой—пусть Всевышній осчастливить его! — имѣетъ хорошее дѣло. У него большое семейство, я ихъ стѣсняю, а тутъ мнѣ лучше.

— Какъ же онъ отпускаетъ тебя?

— И-и, сынокъ, зачѣмъ такъ говорить! Не надо осуждать, никого нельзя осуждать, не надо, миленькій. Ты хорошій мальчикъ, у тебя такое мягкое сердце.

У меня показались слезы, — такъ трогалъ меня ея голосъ, убогое платье и нищенскій видъ.

— Бабушка, а кто же тебѣ ѣсть приносить?

— Птичка моя дорогая, какой ты добрый бухеръ*)! Благословенъ Всевышній! — имѣю все. Не печаль меня своимъ жалобнымъ голоскомъ, иди, котикъ, ты мнѣ мѣшаешь.

И она опять принялась молиться. Но я не могъ уйти; мнѣ захотѣлось приласкаться къ ней, слушать ее. Что-то хорошее, теплое и жалостное закопошилось въ моемъ десятилѣтнемъ сердцѣ.

— Бабушка, какъ ты хорошо молишься... Вѣдь я понимаю, что ты читаешь.

Она засуетилась и испуганно подошла ко мнѣ.

— Болячка на меня за то; что я огорчила дѣтское сердце! — воскликнула она, съ страстной нѣжностью глядя на меня

*) Молодецъ.

по головѣ и щекамъ. — Что съ тобой, сынокъ, не плачь! Пусть мнѣ достанется за каждую дорогую косточку, за твое сладкое лицо, дитя мое! Это псалмы, псалмы царя Давида; онъ плакалъ передъ Господомъ, изливалъ передъ Нимъ свое сердце. Ну, и я, старая дура, не выдержу порой, тоже заплачу передъ Богомъ...

— Отчего никто не молится такъ, какъ ты?.. А что же ты дѣлаешь всегда?

— Молюсь, сынъ мой, всегда молюсь, мой умный сынокъ! А еще Богъ подкрѣпляетъ меня, даетъ мнѣ силы благословлять Его, помогать, чѣмъ могу, несчастнымъ, бѣднымъ дѣточкамъ, у которыхъ ѣсть нечего, — пусть Господь не накажетъ за эти слова! Хожу, когда надо, по богачамъ, когда случатся умирающіе, больные, которымъ никто не помогаетъ—пусть это не зачтется никому на томъ свѣтѣ! Сдѣлаю что-нибудь, такъ и душѣ легче. Грѣхъ роптать, грѣхъ, сынъ мой!.. Боже мой, да что съ тобою?

— Бабушка, ты добрая! Я бы хотѣлъ у тебя учиться! —сказалъ я въ сильномъ волненіи.

— Что ты, птичка моя, чему я тебя, глупая, научу? Развѣ женщины учатъ мальчиковъ? У тебя такой хорошій отецъ, онъ можетъ найти для тебя такого учителя, что Богъ и люди, какъ говорится, позавидуютъ тебѣ. Вотъ *ребѣ Шлойме*—пусть Господь продлитъ его лѣта. Это хорошо, что ты хочешь учиться, будешь хорошимъ евреемъ, а то много, сынъ мой, злыхъ людей — пусть Господь не накажетъ за эти слова!..

И она продолжала гладить мои волосы и шептала слова какой-то молитвы.

Послѣ я узналъ, что старуху звали Ханой. У нея былъ богатый сынъ, но злая, ненавидѣвшая ее невѣстка выгнала ее изъ дому и даже запретила приходить любоваться внуками. Хана добывала себѣ хлѣбъ тѣмъ, что обучала дѣвочекъ молитвамъ. Изъ своего мѣсячнаго дохода въ 9—10 рублей она умудрялась жертвовать еще на бѣдныхъ. Нѣсколько разъ уже она набирала себѣ на саванъ, который набожные евреи запасаютъ при жизни, чтобы всегда быть готовыми

къ смерти. Но если умирала какая-нибудь бѣдная еврейка, которую не на что было похоронить,—Хана отдавала съ благословеніями свой похоронный уборъ и принималась готовить новый.

— Дай Богъ, чтобы вы долго жили! — говорила она хлопотавшему о погребеніи умершей: — за то, что даете бѣдной старухѣ возможность сдѣлать доброе дѣло.

Питалась она хлѣбомъ и водою, хлопотала о приданомъ для бѣдныхъ дѣвушекъ, лѣкарствахъ для больныхъ и въ свободное время молилась. Она никогда не сердилась, не отзывалась дурно о другихъ и никому не позволяла злословить въ своемъ присутствіи. Бывало, когда уличные мальчишки, завидя ее, начнутъ ее дразнить: „Хана горбатая, Хана беззубая, тебя сынъ выгналъ, ай-ай-ай!“—она только обернется и скажетъ: „Дѣточки мои, что вы говорите? Пусть Богъ не накажетъ васъ за эти слова! Что я вамъ сдѣлала? Мнѣ ничего, но вамъ, дѣтки, грѣшно: старую женщину не слѣдуетъ вамъ обижать!..“

Вотъ отъ кого я слышалъ въ первый разъ имя ребе Шлойме, который предсталъ передъ надзирателемъ въ видѣ уроды Шлѣмки. Хана произносила это имя съ благоговѣніемъ...

Приближался закатъ солнца. На улицахъ улеглась пыль; воздухъ становился мягче; городъ затихъ: блѣдный еще мѣсяцъ, будто улыбаясь, подымался изъ-за деревьевъ. Недалеко отъ дома, въ которомъ я жилъ, на площади, старый мельникъ „Хвилипъ“ завелъ свою вѣтряную мельницу и отъ удовольствія затянулъ „пѣсню“, которая такъ гармонировала съ настроеніемъ природы, меланхолическимъ и незлобивымъ. Пѣсня становилась все громче, крылья вертѣлись все живѣе подъ дыханіемъ вечерняго вѣтра, темнѣющая площадь, оживляясь, проникалась мелодіей, и даже деревья отъ удовольствія важно помахивали вершинами...

„Ой, у полі могила...
Зъ вітромъ говорила...“

Кто-то постучался у моихъ дверей... Я отворилъ и увидалъ передъ собою блѣднаго, усталого Шлему.